

Последний дебют Посвящ. Н. О. С—ой

Я, раненный насмерть, играл,
Гладьяторов бой представляя...

Антракт между третьим и четвертым действиями кончался. Капельмейстер Иван Иванович фон Геккендольф только что добрался до самого интересного места увертюры, изображавшей очень наглядно плач иудеев в пленении вавилонском.

Иван Иванович ужасно любил такие пьесы, где все время шла отчаяннейшая fuga, — где жалобное рыдание флейт смешивалось с патетическими восклицаниями кларнета, — где гудел самым безжалостным образом тромбон, — и все покрывалось глухим рокотанием турецкого барабана, где музыканты, приведенные в ужас этим хаосом звуков и готовые положить инструменты, кидали на капельмейстера взоры, полные самого мрачного, безнадежного отчаяния...

Тогда Иван Иванович производил чудеса: он бросался из стороны в сторону, делал самые трудные телодвижения, удивляя публику своею гибкостью, и, наконец, красный от усталости и волнения, обводил зрителей торжествующим взором, когда инструменты сливались в общем хоре.

На этот раз публика не могла отдать должного удивления музыкальным подвигам Ивана Иваныча, потому что все были заняты разговорами о драме, которая шла в первый раз. Называли вполголоса имя автора и указывали на литерную ложу, где сидел молодой человек с растрепанной шевелюрой.

На сцене шла суматоха. Алексей Трофимович Петунья, исполнявший одновременно должность и декоратора, и машиниста, и сценариста, был в страшном волнении.

— Опускайте, опускайте кулисы-то! — кричал он, бегая без сюртука по сцене.
— Да тише, осторожнее, говорят вам! Послушай, ты, баранья голова, как тебя звать?

— А Кириллом, — отвечал, усмехаясь, кудрявый рослый парень.

— Так ты, голубчик Кирилл, сбегай сейчас вниз, в кассу. Спроси у Андрей Филиппыча мой саквояж, понимаешь? Ну, мешочек такой, маленький,

кругленький... Да ты пошевеливайся, бегом! Ну, что вы там заснули? Где же река-то? Николай Антонович, вы реку позабыли, давайте реку!

— Пушай висит, — отвечал сверху грубый голос, — таперя кулисы мешают, тады легше будет.

— А вы, Николай Антонович, вал починили? Прошлый раз Анемподистов четырнадцать зубцов сломал. Александр Петрович, я просто не знаю, что мне делать, облака истерзаны в клочки, река просвечивает, кулисы старые, гнилые...

Последние слова относились к антрепренеру и директору труппы, быстро проходившему через сцену с хлыстом в руке. Это был высокий, статный мужчина лет тридцати пяти. Лицо его, обрамленное густой гривой черных волос, живописно падавших на плечи, носило печать какой-то гордой, самоуверенной силы. Особенно хороши были его большие, серые, холодные глаза, тяжелый взгляд которых не могли выдержать многие, даже очень решительные люди.

— Обратите, пожалуйста, внимание, — вопил Алексей Трофимович, жестикулируя самым отчаянным образом. — Андрюшка спать запил, старые кулисы никуда не годятся, могут упасть, разбить кому-нибудь голову...

— Потом, потом, — прервал рассеянно Александр Петрович. — Где Гольская?

— Оне в уборной-с, если не ошибаюсь, — отвечал Алексей Трофимович и опять побежал раздавать приказания.

Поднявшись наверх, Александр Петрович остановился перед маленькой крашеной дверью и постучал.

— Кто там? Войдите! — раздался за дверью приятный женский голос.

Лидия Николаевна Гольская была красавица.

Трагик Анемподистов, игравший на сцене под псевдонимом Фальери и поразивший купчих в самое сердце краткой, но ядовитой эпиграммой:

Фигура

Без турнюра! —

всякий раз, когда заходила речь о Лидии Николаевне, закатывал глаза под лоб так, что несколько минут в орбитах вращались одни громадные белки, и восклицал хрипящим басом: «Богиня! Классическая богиня!» Действительно, тонкие правильные черты лица, классический профиль и будто мраморная, прозрачно-матовая бледность лица Гольской позволяли дать ей это название.

Фигура
Без турнюра! —

При входе антрепренера Лидия Николаевна сделала порывистое движение вперед, но опять опустилась в кресло, и только густой румянец залил ее бледные щеки.

— Чем я обязана чести видеть вас у себя? — спросила она через силу, и в тоне ее голоса зазвучали худо скрываемые горечь и презрение.

Александр Петрович тряхнул гривой черных волос. Этот прямой вопрос ему сильно не понравился, потому что он хотел приступить к объяснению исподволь.

— Я просил бы вас, Лидия Николаевна, оставить, во-первых, этот тон, который мне неприятен, а затем хотел вам доложить, что меня положительно возмущают ваши вздохи и безнадежные взгляды. На каком основании это все делается? А сегодня вы, как будто нарочно, из рук вон плохо играете. Хорошо еще, что вас любит публика, а то ведь провалили бы пьесу, окончательно провалили бы... Чисто женская логика! Разозлится на одного человека, а делает неприятности двадцати пяти. Здесь, кроме меня, страдает автор, страдают ваши товарищи; я уверен, три четверти зрителей не слышали вашего умирающего голоса.

И он остановился против нее, раздраженный, взволнованный, ожидающий ответа.

— Александр Петрович, представьте себе, — заговорила, наконец, Лидия Николаевна прерывающимся голосом, — представьте себе женщину, которая полюбила горячо и сильно, — полюбила в первый раз в жизни.

Александр Петрович сделал нетерпеливое движение.

— Подождите немного! Представьте себе дальше, что она отдала все, что только может отдать женщина, а он надругался над этой горячей, слепой любовью, бросил эту женщину на произвол судьбы. И представьте себе, Александр Петрович, что этой женщине приходится развлекать тысячную толпу именно в то время, когда она, быть может, близка к самоубийству или к безумию!

— Ну вот! Я так и знал, — прервал нетерпеливо антрепренер, — и к чему здесь эта напущенная иносказательность, когда вы могли бы прямо потребовать у меня объяснения? Когда я вам говорил, что я вас люблю, — я говорил от чистого сердца, точно так же, как и вы... по всей вероятности. Если бы вы

меня разлюбили, я не стал бы ныть и требовать

любви! Если бы мне было тяжело, я повесился бы на первой балке моего театра; если бы меня мучила зависть и злоба против моего соперника, я не стал бы сдерживаться, а сделал бы то, что мне хотелось бы сделать: разбил бы, например, кому-нибудь голову вот этим самым графином...

— Александр Петрович, — возразила Гольская, — вы забываете, кажется, что я женщина, что...

— Ах, не все ли равно! Я, признаюсь, не понимаю, совершенно не понимаю сентиментальных пошляков, которые уверяют, что раз сошлись мужчина и женщина, между ними возникает какое-то взаимное нравственное обязательство. Стыдитесь, Лидия Николаевна! Так простительно думать девицам, которые, слышав в словах мужчины намек на любовь, тащат его к брачному сожителству! Я вам понравился, вы мне понравились, — это, по-вашему, естественно? А разве неестественно и то, что вы мне перестали нравиться?

— Александр Петрович! А ваши клятвы, обещания? Вспомните, как вы призывали все, что еще для вас осталось святого, в свидетели вашей любви!

— Что ж из этого? Или вы думаете, я сделан из дерева? Страсть, которая одинаково палила и меня и вас, заставила бы всякого на моем месте клясться точно так же, как клялся я! Ну, хорошо, положим, я должен был сдержать эти клятвы; да неужели вам будет приятно, если я начну снова верить вас в своей любви, после того как сказал вам, и очень ясно, что вы мне перестали нравиться? А ведь вы должны со мной согласиться, что я не могу по произволу вызывать в себе нежные чувства!

— Александр Петрович, вы хотя бы вспомнили, что я должна сделаться матерью, — прошептала, отворачиваясь, Лидия Николаевна...

Она так была хороша в этом замешательстве, что у антрепренера мелькнула на мгновение мысль: а ведь я могу еще ее уверить, — скажу, что хотел испытать. Но это было только на мгновение; он отогнал соблазнительную мысль и отвечал суровым тоном:

— Ну что же-с? Обеспечить законным образом существование ребенка? Этого вам хочется? С удовольствием...

Он не успел закончить фразы. Оскорбленная женщина встала с кресла и, задыхаясь от гнева, произнесла почти шепотом:

— Вон!

Это «вон!» было сильнее громкого крика. Человек, никогда, ни при каких обстоятельствах не терявшийся, покорно вышел, понутив голову.

Лидия Николаевна долго смотрела на затворившуюся дверь и почти без чувств опустилась в кресло. Тяжелые мысли, как кошмар, проносились и путались в ее голове, а вместе с ними создавалось и зрело какое-то ужасное решение.

— Ваш выход, Лидия Николаевна, — раздался через некоторое время сиплый тенор Вальцова, первого комика и не последнего шулера на все руки, как называл его язвительный Анемподистов, — поскорее, пожалуйста.

Она сумела победить волнение, не даром она была превосходной артисткой, и сухо, но твердо отвечала:

— Иду!.. Скажите, что иду.

На сцене было душно. Шел последний акт, в котором молодая девушка, обманутая возлюбленным (эту роль исполнял антрепренер) и осыпанная незаслуженными упреками, принимает яд и умирает, унося в могилу проклятия тому, кого она так сильно любила. Гольская стояла в ожидании своего выхода, прислонившись к кулисе, бледная, с шибко бьющимся сердцем. Кто-то взял и пожал ее руку. Она услышала над ухом участливый голос режиссера:

— Вы бледны, как смерть, Лидия Николаевна, не хотите ли воды?..

Она молча, отрицательно покачала головой.

«Начинается, начинается, — со страхом думала Лидия Николаевна, — спрошу в последний раз, и он должен ответить, должен под чужими словами понять мои мучения... Ах, как стучит сердце... А этот противный Анемподистов кричит и кривляется!»

Она дождалась, наконец, момента, когда Анемподистов, изгибаясь в судорожных движениях, долженствовавших изображать гнев, удалился за кулисы, призывая замогильным басом все громы небесные на чью-то несчастную голову, дождалась резкого шепота режиссера: «Вам, Лидия Николаевна», — дождалась и вышла.

Она вышла, прекрасная и величественная в своей скорби, и уж один вид ее заставил вздрогнуть и забиться сотни сердец.

Она ничего не видала, кроме мощной фигуры, неподвижно стоявшей посреди сцены, и сама не знала, какое чувство будила в ней эта фигура: прежнюю ли беззаветную любовь, или глубокую ненависть и презрение...

«Что он скажет? — проносилось в уме. — Неужели не тронется это холодное сердце? Скажи, что ты меня любишь, обними меня по-прежнему, я все отдала тебе, — я тебя любила без конца, без оглядки... Но разве это возможно, разве осталась для меня какая-нибудь надежда?.. Вот он что-то говорит... Нет! Это те же холодные, жестокие слова, та же убийственная, рассчитанная насмешка...»

Она рыдала, ломая руки, она умоляла о любви, о пощаде. Она призывала его на суд божий и человеческий и снова безумно, отчаянно рыдала...

Неужели он не поймет ее, не откликнется на этот вопль отчаяния?

И он один из тысячи не понял ее, он не разглядел за актрисой женщину;
холодный и гордый, он покинул ее, бросив ей в лицо ядовитый упрек.

Она осталась одна.

Всем становилось жутко, каждый чувствовал, как по спине у него пробежала холодная волна.

Суфлер в изумлении захлопнул книгу, — в ней не было ни одного слова, похожего на эти, полные мрачной скорби слова.

Скрипач, начавший было тянуть сурдинку, остановился и застыл на месте, с раскрытыми от ужаса глазами.

А она каким-то надорванным голосом рассказывала историю своей несчастной, погибшей любви, — роптала на небо и просила у него смерти, молилась за человека, разбившего ее жизнь, и призывала на его голову проклятия. В зале царила гробовая тишина, — каждое слово было слышно с ужасной отчетливостью...

Вдруг Гольская остановилась и медленно подошла к рампе. Она уже не рыдала, не ломала в отчаянии рук; ясное спокойствие разлилось по ее лицу. В руках у нее сверкал и искрился граненый флакончик с темной жидкостью.

«Ах, какой отвратительный запах... Страшно... Надо сделать усилие... Горько... Жжет в груди...» Она обвела зрителей большими, изумленными глазами... побледнела, зашаталась и со страшным, раздирающим душу криком упала на пол. Восторг и какое-то растерянное недоумение изображались на бледных

лицах зрителей. При гробовом молчании медленно опускался занавес, но — мгновение, и театр задрожал от бури аплодисментов.

— Гольская! Гольская! — раздавалось отовсюду, раек неистово шумел и топал ногами, слышались истерические рыдания. Угол занавеса дрогнул, кто-то нерешительно выглянул со сцены и скрылся.

— Гольская! Гольская! браво! — раздавались неумолкающие крики; занавес опять колыхнулся, на сцену посыпались венки и букеты.

Но что это? У рампы показался человек с бледным, испуганным лицом. Он медленно обвел залу помутившимися от слез глазами и едва слышно произнес дрожащим голосом:

Господа, Гольской не стало...